

Детство моё, постой...

Текст с фотографиями можно прочитать здесь:

<http://nmkravchenko.livejournal.com/173543.html>

Была такая песенка:

Детство моё, постой,
Не спеши, погоди.
Дай мне ответ простой,
Что там, впереди.



Что там впереди – мне уже более-менее ясно. Всё чаще спрашиваешь себя – а что позади? Хочется сохранить, собрать по крупицам всё, что осталось, спасти от всепоглощающей пасти забвения и небытия. И я вспоминаю, вспоминаю...

Я спешу перед тобою
Исповедать жизнь мою,
Чтоб не умертвить с собою
Всё, что в жизни я люблю, –

как писал Лермонтов.

Воспоминания прошлого обычно идут не последовательно, не целостно, а

как бы набегают друг на друга волнами, наплывают, как во сне. "По волнам моей памяти..." То из этой волны сверкнут тебе давно забытые глаза, то облако на весеннем небе, то какие-то запахи детства, то чей-то до боли знакомый голос. Эти мелочи, осколки нашего бытия ведут нас к тем минутам, к тем местам, где мы любили, плакали, смеялись, страдали – где мы жили.



Очевидцев, свидетелей моего детства почти не осталось. Дом, где я родилась, давно снесён. Он стоял на улице Горького, между Пушкинской и Сакко и Ванцетти, рядом с угловым овощным магазином, напротив бывшей школы №3, где я училась. Это была коммуналка на 20 семей, где мы вчетвером (мама, отец, брат и я) занимали одну комнатку. Жила я там до шести лет, поэтому помню её смутно. Помню белую кафельную печку-голландку, к которой так хорошо и уютно было прижаться. Старый классический венский стул с выгнутой спинкой – тогда только такие, кажется, и были. Из всех семей помню хорошо только одну женщину, которая часто плакала в коридоре за дверью своей комнаты, отвернувшись лицом к стене. Что-то у них там происходило с мужем – какие-то ссоры, драмы, она выбегала в слезах, а спрятаться было некуда, кругом люди, и она безмолвно и беззащитно плакала у всех на виду. Я была совсем маленькой, но эту униженность и безвыходность её состояния ощутила тогда всей кожей, всей своей будущей женской сущностью. Она плакала почти каждый день, и соседи обходили её молча, как зачумлённую. Кажется, её звали Клава.

Там же, в этой коммуналке, жила тогда Наташа Медведева. (Сама я этого не помню, рассказываю со слов мамы.) Она была старше меня на десять лет. Фамилия её матери была Цвиткис, отца не было, во всяком случае, с ними он не жил. Мать Наташи была учительницей музыки, она и её пыталась обучать игре на фоне, чему та сопротивлялась со страшной силой. Мать её била, крик стоял на весь дом. Отношения Наташи с матерью позже вконец разладились, и она прибилась к соседской семье Тараховских: трём сестрам – старым девам, интеллигентным еврейкам, прекрасно образованным, великолепно знающим

литературу, поэзию, обладателям богатой библиотеки. Они привязались к Наташе, она им стала как дочь. У них она и росла. И похоронена была потом в их общей могиле. (Я пишу все эти сведения, касающиеся, в общем-то, не меня, только потому, что считаю Наташу Медведеву большим поэтом, и мне кажется, что всё, так или иначе связанное с её жизнью, должно остаться.) Сестёр Тараховских, заменивших Наташе родителей, я не помню, помню лишь их брата, Евсея Григорьевича, который всегда ездил на велосипеде, хотя казался мне ужасно старым для этого.

В этой коммуналке я жила только два года – с четырёх до шести лет, а до этого воспитывалась у бабушки (маминой мамы) на Ульяновской. У неё там была комнатка в старом доме – метров 6, куда вместились только кровать, на которой мы с ней обе спали, стул и комод. Потом, в классе седьмом, я снова переселилась туда на время, пока мама "устраивала свою личную жизнь" – уже после развода с отцом. На этой бабушкиной кровати проходила вся моя жизнь: я там спала, ела, читала, писала стихи, учила уроки. В детстве со мной никто никогда не сидел, бабушка уходила на базар, в гости, всюду, куда ей было надо, посадив меня на эту кровать, где я тихонько сидела, занимаясь своими игрушками. Эта самостоятельность или, вернее, некая автономность, ненуждаемость ни в ком проявились у меня ещё в грудном возрасте. Мама рассказывала, что когда она брала меня на руки укачивать, я начинала кряхтеть, трепыхаться, всячески выражая своё недовольство. Она, не понимая, чего мне, собственно, нужно, в сердцах бросила на кровать. И я замолчала, успокоившись. Взяла на руки – та же история. Так я приучила её с детства оставлять меня в покое. Я лежала в своей колыбельке, никому не мешала и не терпела никакого вмешательства в мою личную младенческую жизнь.

Помню, у нас в семье была такая игра: перед сном, уже лёжа в постелях, мы по очереди загадывали какой-нибудь предмет в комнате, называя первую букву этого слова. А остальные пытались его угадать. Однажды я загадала предмет на букву "ч". Мама, отец, брат перебрали всё и, отчаявшись, сдались. Тогда я торжествующе выпалила: "челевизор!" Правда, "челевизора" у нас тогда ещё не было, он появился позже. Смотреть "кино" мы отправлялись по выходным на Ульяновскую, к дяде. В той же бабушкиной квартире в соседних двух комнатах жила семья её сына: он с женой, две дочки-двойняшки, мои ровесницы, и сын Валера, ровесник моего старшего брата Лёвы. Телевизор был маленький, с линзой, но тогда других и не знали.

С сестрами мы росли вместе: бегали зимой на каток в Детском парке, катались с горок во дворе, летом лазали в сад за соседскими вишнями. Мне скучны были наши обычные дворовые игры, и я изобретала новые. Однажды придумала игру "в смерть". На бумажках писались разные виды смерти, преимущественно экзотические: "умрёшь от укуса змеи", "погибнешь в войну", "убьёт молния" и т.д. Бумажки перетасовывались, и каждый из шапки вытягивал "свою смерть". Это щекотало нервы. Помню, как Валерка вытянул однажды бумажку со словом "расстреляют", и как мы все тогда смеялись.

Недавно я вспомнила об этом, и меня буквально бросило в дрожь. Это невероятно, но то дурацкое предсказание сбылось. Валерка был расстрелян в подъезде своего дома в Москве летом 1998 года. Он только что заступил на должность замдиректора аэропорта "Шереметьево", но не пробыл на ней и месяца. Отказавшись кому-то подписать какие-то бумаги, он поплатился жизнью.

Из своего детства в коммуналке я помню такой эпизод. Однажды я подралась во дворе с одной девочкой – мы не поделили какой-то красивый камешек, который нашли одновременно. Нас, ревуших, с расквашенными носами, растащили в разные стороны. Я была вне себя от горя и гнева: камень остался у моей противницы. Когда же нас отпустили, мы снова бросились друг к другу: я – с вздетыми кулаками, а она – с протянутой ручкой, в которой лежал этот камешек. Она хотела отдать мне его. А я не заметила этой доверчиво протянутой руки и по инерции ударила девочку. И в тот же момент увидела её разжатую ладонь. И глаза, в которых застыли недоумение и обида. Мне стало нестерпимо стыдно. Я машинально схватила камень, бросилась домой и долго плакала там, уткнувшись в подушку. Меня мучили раскаяние, угрызения совести – чувства, которым я тогда ещё не знала названий. На другой день я решила вернуть камень девочке, но во дворе она больше не появлялась. Потом я узнала, что они переехали. Позже, когда прочла у Лермонтова: "и кто-то камень положил в его протянутую руку", испытала чувство потрясения и стыда. Хотя я его тогда не положила, а взяла из протянутой руки, но по сути ведь сделала то же самое. Меня эта история долго мучила. А лет через семь к нам в класс привели новенькую, и я сразу узнала в ней эту девочку. Её звали Люда Орешникова. На перемене я подошла к ней и напомнила о том случае. Мне хотелось – пусть запоздало – как-то загладить свою вину. Но она ничего этого не помнила и только посмеялась.

Когда мне исполнилось шесть лет, мы переехали на новую квартиру на Рабочей (между Горького и Вольской). Сейчас этот дом тоже снесён. Это был старый особняк с верандой и палисадником, в котором мы повесили гамак. За этот гамак, в котором я любила возлежать с книжкой, ребятня во дворе меня невзлюбила и окрестила "буржуйкой". Только одна была у меня там верная подруга – Ленка. За измену своему "клану" её бомбили снежками, когда она бежала ко мне в гости, несколько раз даже ловили и засовывали снег за шиворот, но она всё равно была мне верна. Помню, как возмущалась, передавая услышанные о нас сплетни: "Они говорят, что у твоей мамы было три мужа! А я им говорю: ничего подобного, только два! Ведь правда же, всего только два?" Я озадаченно молчала. Насчёт "второго мужа" мне было ничего не известно, не говоря уже о третьем. Они появятся только много лет спустя.

Запомнился на всю жизнь день первого отправления в школу. Это был драматический день, имевший для нашей семьи далеко идущие последствия. Нарядная, в белом фартуке, с новеньким портфелем, с огромным бантом и ещё более огромным букетом я стояла у порога дома, напутствуемая с двух сторон

родителями и соседями, как правильно переходить улицу. На пути к школе мне надо было трижды перейти дорогу. Провожать меня было некому, все работали, я должна была этот крестный путь проделать одна. Меня чуть ли не в сотый раз экзаменовали на этот предмет, и я в сотый раз отвечала, что пойду только на зелёный свет, что сначала посмотрю налево, потом, дойдя до середины дороги, – направо... Может быть, именно оттого, что я столько раз это твердила и обещала, во мне подспудно зрел какой-то смутный неосознанный протест, как всегда против всякой обязаловки. И вот настал этот час икс. Весь двор вышел смотреть, как я буду пересекать магистраль. Я чинно стояла у бордюра. Из-за угла появилась машина. Я терпеливо ждала. Мама и соседи переглядывались и удовлетворённо кивали головами: "умница". Машина приближалась. Я подпустила её почти вплотную и тут – сама не знаю, что на меня нашло – ринулась вперёд. Я проскочила, успела за какую-то секунду до столкновения. Но какой ценой! Сосед Айзик Маркович – у него было большое сердце – упал в обморок. Меня со скандалом вернули обратно. У мамы была истерика. Напившись валерьянки, она стала звонить на работу, отпрашиваться. В школу меня повели под конвоем, держа крепко за руку слева и справа. И в тот же день родители стали искать варианты обмена на нашу квартиру в доме рядом со школой. Нашли гораздо худшую, с меньшей площадью, но зато срочно и без перехода улицы. Вот так плачевно закончился мой "переход через Альпы."

Новая квартира была в большом сером доме на углу Советской и Горького. Нашим соседом был директор авиационного завода (его уже давно нет в живых), его жена домохозяйка и две дочери – Фира и Таня (сейчас они все в Израиле). Тане было 17, мне семь. Я влюблялась во всех её женихов, что было предметом безудержного веселья всей квартиры. Однажды к ней пришёл одноклассник Юня (настоящее имя Юра, но его так все звали из-за кукольной внешности: розовые щёки, пухлые губы бантиком). Он принёс Тане букет цветов. Дверь ему открыла я. Тани не было дома, она уехала на дачу. Он смутился, отдал мне этот букет – не нести же обратно – и ушёл. А я возомнила, что эти цветы – мне, и влюбилась без памяти в этого пухлого кукольного Юню. Когда он приходил, я краснела до кончиков волос, убегала, забивалась куда-нибудь в угол. "О, куда мне бежать от шагов моего божества!" Все хохотали, отпускали шуточки, дразнили ни в чём не повинного Юню.

Потом у Тани появился жених с женским именем Юля. Он ходил к ней "с серьёзными намереньями". Таня терпеть его не могла. Она надолго оставляла его одного в комнате, а сама уходила в кухню и ждала там, пока он догадается уйти. При этом она вслух саркастически комментировала его внешность, манеру говорить и какого-то не того цвета носки. Я влюбилась и в этого несчастного нелюбимого Юлю. Иногда меня звали в их компанию "больших", чтобы я почитала им Есенина, которого знала наизусть. И смеялись, когда я трагическим тоном, со слезой в голосе декламировала: "Мы все в эти годы любили, но мало любили нас..."

Однажды на каком-то многолюдном семейном празднике отец встал за

столом и вместо тоста прочитал своё стихотворение. Оно начиналось так:

Вам, дорогая, нежных слов не надо.
Как шубу старую, надежду сгложет моль.
Не опечалит Вас и не подарит радость
Моё последнее и первое письмо.

Дальше не помню. Это было первое и последнее стихотворение отца, которое я от него слышала. Кому оно было посвящено? Писал ли он другие стихи, кроме этого? Я уже никогда этого не узнаю.

И ещё помню, как отец пел песню про метелицу: "Ты стой, стой, красавица моя, дай мне наглядеться, радость, на тебя." Он пел это, обращаясь ко мне, якобы я и есть та самая красавица. Мне это ужасно нравилось. Когда он доходил до этих слов, я нарочно поворачивалась спиной и делала вид, что хочу уйти, а он простирая ко мне руки, будто пытаясь удержать: "Ты стой, стой..." И все вокруг смеялись.

Иногда вечером мы ходили всей семьёй в подвальчик на улице Горького есть мороженое. Сейчас там салон штор "Декор", до него был ресторан "Русские узоры", а в то время его называли просто "подвальчик". Помню, когда мы пошли туда в первый раз, все принарядились, и я тоже решила надеть всё лучшее. Самым красивым и праздничным нарядом мне казалась "снежинка" из марли, в которой я выступала на ёлке. Я надела её к ужасу родителей, и никакие уговоры и увещания не могли заставить меня заменить её на какое-нибудь банальное человеческое платье. Мало того, я, под влиянием прочитанной недавно пушкинской "Сказки о царе Салтане" и поразившей меня там строчки про царевну-лебедь: "а во лбу звезда горит", вырезала такую звезду из фольги и прилепила на лоб. Так и пошла со своими расстроенными родителями, не знавшими, куда девать глаза от стыда за мой экстравагантный вид. Но зато самой себе я казалась в тот вечер настоящей царевной-лебедью, принцессой из сказки.



Эта "снежинка" мне так нравилась, вернее, я сама себе в ней, что я стала появляться в ней перед каждым гостем в доме и изображать балерину: то "умирающего лебедя", то одного из "маленьких лебедей". Сохранились фотографии, где я в этой марлевой пачке лежу на ковре в мёртвой позе с томно закатанными глазами. Но вид портили чёрные трусы, которые предательски выглядывали из-под белоснежного оперения. В сердцах я отрезала на фотографии эти трусы, но вместе с ними отрезались и ноги, а умирающий лебедь без ног – это все-таки что-то не то.

Мама решила отдать меня в балет. Я прошла конкурс, меня приняли. Преподаватели хвалили "высокий подъём" моей ноги, – я тогда не понимала, что это такое. На первое занятие всем велели прийти в белых купальниках (имелись в виду гимнастические купальники или за неимением его – белая маечка, зашитая между ног) с синими поясками. Я перепутала цвета и сказала маме, что нужно прийти в синем купальнике с белым поясом. Мама поняла слово "купальник" буквально и дала мне свой пляжный из сжатой ткани с чашечками для бюста, который на мне выглядел весьма комично. Преподаватели были поражены таким нарядом –здесь такого ещё не видывали – и сделали мне выговор. Девчонки смеялись, тыкали в меня пальцем. "Ладно-ладно, – думала я мстительно, – вот сейчас начнут танцевать умирающего лебедя, и я им покажу, я так станцую, что им всем тошно станет от зависти..." Но к моему великому разочарованию никаких танцев не предвиделось, а вместо этого с нами стали разучивать разные "позиции": пятки, носочки, вперед-назад, вместе-врозь и тому подобную чушь. Балет нравился мне всё меньше и меньше. "Зачем мне все это? –думала я высокомерно. – Я и так лучше всех танцую."



Потом все стали перекидываться мячиком, а я задумалась о своих будущих лаврах и не поймала его, мяч угодил мне в лицо. Я обиделась, расплакалась и убежала. Дома сказала, что больше туда не пойду. Так бесславно завершилась моя балетная карьера.

Недавно я узнала от Давида одно еврейское слово: "шлимазл" – оно как раз для обозначения таких, как я. Одним словом, "пока не требует поэта..."

В 15 лет я отдыхала с подругой в её родной деревне "Салтыковке". Когда мы были на огороде и что-то там делали, дядя Воля, у которого мы жили, внимательно за нами наблюдавший, сказал своей жене: "Ольге можно жить в сельской местности, Наташке – нет." "Почему?" – удивилась я.

– Ты... не советская ты какая-то.

Эту свою "несоветскость", т.е. инакость, "шлимазлость" я не раз потом ощущала в жизни. На уроках не слушала, писала стихи. Мне это казалось важнее. Вместо уравнений выводила в тетради:

Набираю в ручку
Синие чернила.
Где ты, самый лучший?
Где ты, самый милый?



"Самый лучший" явился в 9 классе в облике студента-практиканта, преподававшего у нас физику. Его звали Владимир Витальевич. Вот когда я пожалела о том, что не училась! Я ничего не понимала в физике, ничего не понимала в том, что он объяснял. Я слушала его речь как музыку, как песни Джо Дассена на французском языке. Зачем-то записалась в физический кружок, который он вёл, куда ходили победители олимпиад и те, кто отличились в этом предмете. Ходила туда дура-дурой. А он смотрел на меня и тоже ничего не понимал. Даже спросил у кого-то из девчонок, чего я здесь делаю – в его кружке.

Однажды я его увидела на улице. Он меня не видел, он шёл впереди меня. Была зима, шёл снег, мела метель. Я пошла за ним следом. Мы шли, и шли, и

шли...(Недавно соседская школьница Олеся принесла мне проверить своё сочинение на тему "Как я провёл выходной день". Она описывала там день, проведённый в лесу. Полстраницы занимало одно слово: "Мы шли, и шли, и шли, и шли...". "Разве так можно писать? –" укорила я её. Она искренне удивилась: "Но мы действительно так долго шли." Так вот мы тоже с ним "всё шли, и шли, и шли...")



Путь шёл всё время по прямой, вверх по Горького. Тьма постепенно сгущалась, зажигались фонари, метель пуржила, замечая наши следы в этом мире. Я шла не с ним, а всего лишь за ним, но для меня и это было много. В голове нелепо звучали строчки: "в алом венчике из роз впереди – Иисус Христос..." Его стремительная фигура в лёгком развевающемся пальто, запорошенная снегом ушанка, неумолимо удаляющиеся от меня шаги, и весь он – такой непостижимый, недоступный, недостижимый, как его физика, как его язык уравнений, законов и формул, который я не знала. Я говорила с ним мысленно на своём языке, языке поэзии, который он в свою очередь не понимал. Мы говорили, вернее, молчали на разных языках. Я шла за ним неведомо куда в серебристом свете фонарей, и во мне что-то умирало, как в том бессмертном умирающем лебеде, и светилось, как звезда во лбу пушкинской царевны. И невдомёк ему было, что он уводил меня из моего детства.

